

Как жестока жизнь, как несчастен человек.
Каждый мой смешной рассказ, в сущности,
маленькая трагедия, юмористически повёрнутая.

Н.А. Тэффи

Прежние писательницы приучили нас ухмыляться
при виде женщины, берущейся за перо.
Но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи.
Не женщину-писательницу, а писателя большого,
глубокого и своеобразного.

Саши Чёрный

Предлагаем вниманию читателей рассказы Надежды Александровны Тэффи. Когда читаешь её произведения, написанные в начале XX века, возникает ощущение, что они о нас и наших современниках.

Тэффи — писательница с непростой судьбой, разделившая участь многих собратьев по перу Серебряного века русской литературы. Её произведения печатались в известных журналах и газетах того времени — “Сатириконе”, “Севере”, “Биржевых ведомостях” и др. Пьесы Тэффи ставили во многих театрах. Её любили читатели за присущее ей чувство юмора, умение подмечать людские слабости и пороки и тонко высмеивать их.

В 1920 г. она эмигрировала во Францию, где прожила до 1952 года.

Учительница

Надежда ТЭФФИ

Я видела её давно, лет десять назад, и, вероятно, никогда бы о ней не вспомнила — уж очень мало в нашей городской обстановке чего-нибудь такого, что могло бы о ней напомнить.

Итак, видела я её давно, лет десять назад, в захолустном уездном городке, на вечере у земского врача.

Вернее сказать, не на вечере, а просто вечером, потому что гостей врач не звал, да и не мог звать, так как вся обстановка его парадной комнаты заключалась в большом столе, под которым сидели трое детей.

— Там детям веселее, а нашим ногам теплее, — говорил врач.

В соответствующее время — часов около восьми вечера — дети с громким рёвом убирались из-под стола в детскую, вокруг стола ставились табуретки, а на стол — самовар, накромсанная огромными кусками булка и сахар в лавочном мешке.

Пили чай и разговаривали, а так как в природе в это время был вечер, то, следовательно, был он и в квартире доктора.

Кроме хозяев и меня сидело ещё двое: городской учитель Пенкин и сельская учительница Лизанька Бабина.

Учитель Пенкин был замкнутый, неразговорчивый, точно заспанный человек. Кроме служебных занятий предавался он ещё, и очень деятельно, сборам к давно задуманной поездке в Париж. На что был нужен Пенкину Париж — до сих пор понять не могу, хотя думаю об этом с тех пор десять лет.

Готовился он к этому путешествию очень своеобразно: он зубрил французский словарь Макарова. Прямо все слова подряд.

— Ну-ка, Василий Петрович, — говорили ему, — много ли на зубрили?

— Уже до буквы “п” дошёл, — сонно, но честно отвечал Пенкин.

“Пегас. Пего. Пегуз. Пень...”

— Пень? Да это как будто по-русски.

— Нет, то другое “пень”, французское.

— А что же это значит-то?

— А значение слов я потом буду заучивать, когда dokonчу весь словарь. Теперь немного осталось. Уже до “п” дошёл. А там накоплю денег, да и марш. Прямо в Париж.

Произносил Пенкин французские слова так смачно по-русски, что самое обыкновенное слово мгновенно теряло своё французское значение и приобретало новое, игриво-загадочное.

Тут познакомилась я и с учительницей Лизанькой Бабиной.

Бабина окончила одну из петербургских гимназий и даже пробыла год на педагогических курсах. Потом взяла место земской учительницы и просвещала молодёжь в восьмидесяти верстах от города, в деревушке Кукозере, куда в продолжение трёх четвертей года ни проезду, ни проходу не было.

Зимой с шиком ездили в розвальнях. Осенью и весной совсем не ездили, а летом учительница приезжала в город на “смычке”.

Услышав это, я, по наивности, подумала, что на смычке от скрипки, и никак не могла понять, что за странный способ передвижения. Уж тогда бы удобнее было сесть верхом на самую скрипку.

Потом объяснили мне, что смычком называется следующее сооружение: к лошади прикрепляются длинные оглобли, концы которых связаны и приблизительно на аршин от земли соединены переладиной. На эту переладицу садится учительница Лизанька и скачет по кочкам “через пень, через колоду, через высокую изгороду”. Где колесу не пройти, там проскачат только ведьма на помеле да учительница Лизанька на смычке. Смычок о гнилые пни стучается, поддаёт, пружинит, подбрасывает. Лизанька подтянет потуже старый ременный кушак, “чтоб не всё внутри переболталось”, и скачет.

Скачет она в город только по одному делу — за жалованьем. Жалованье полагается получать раз в месяц, но ездить за ним приходится раза два, потому что денег в земстве нет. Но в земстве есть потребительская лавочка.

— Вы бы, Бабина, взяли жалованье сахаром,— предлагают ей. — У нас сахару много.

— Да что мне с вашим сахаром делать-то? Я говядины хочу.

— Говядины у нас, извините, про вас не припасено. А сахар, непрактичная вы девица, мужикам продать можно.

— Мужика-ам? Саха-ар? Да у нас, в Кукозере, мужики и соль-то только во сне видят.

Садится на смычок, подтягивает кушак потуже и скачет домой “через пень, через колоду, через высокую изгороду”.

Иногда в городе зайдёт к доктору. Подивуется на роскошь городской жизни, на накрамсанную булку, на троих детей под столом. Но больше молчит, потому что доктор и докторша — люди, следящие за жизнью, всё знают, читают журналы! А Лизанька одичала.

Слушает учителя Пенкина, который дошёл до буквы “п” и не сегодня завтра накопит денег — и айда в Париж. Слушает и вспоминает, как сама года три тому назад собиралась в Швейцарию. Даже сшила себе по совету людей опытных ситцевые шаровары, чтобы удобнее было ходить по горам. Шаровары она сносила, надевая для поездок на смычке. Мечту о загранице почти сносила тоже, так как она стала ветхая и прозрачная, и шевелит её Лизанька только в городе, в гостях у доктора.

Сидит Лизанька, пьёт чай. Жёлтая, отёкшая какая-то, руки красные.

Смотрю на неё.

Говорит с увлечением только о своём деле, веруя в важность своей задачи, в нужность своего подвига. Даже верит, что завтра утром жалованье получит.

Странная она какая-то — глупенькая, что ли.

Но докторша сегодня настроена скептически. Она только что прочла в журнале необычайно талантливое произведение какого-то нового эстета. Теперь ведь и в журналах стали печатать новых эстетов.

Докторша набила в рот булки и заговорила о красоте:

— Н-да, Лизанькина жизнь безобразная, и человек даже не имеет права уродовать сознательно свою жизнь. Этим она уродует и природу, следовательно, идёт против Бога, ну да,

конечно, Бога в смысле эстетическом... Что? А? Да вот прочтите сами в последней книжке...

Лизанька протестует. Она невежда.

— И это говорите вы! — возмущается докторша.—Вы! Бывшая курсистка! Как вам не стыдно? Ведь ваша жизнь унижительна. Последний мужик вашей последней деревушки живёт лучше, чем вы, уже потому, что у него есть к этой собачьей жизни привычка, а вы — курсистка, барышня.

Лизанька вдруг вскочила. Жёлтое лицо её вспыхнуло и глаза загорелись.

— Нет, я так думаю и буду так думать. И труд мой нужен, и жизнь моя красива, и подвиг мой свят.

Потом она вдруг побледнела, словно устала, и прибавила тихо-тихо:

— А если я хоть на одну минуту перестану так думать, то ведь я не смогу дожить до завтрашнего утра.